

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

7



1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 7(855)

Июль, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ — Сорок лет Чанчжоз, роман	3
ЯН ГОЛЬЦМАН — Озерные песни, стихи	92
ОЛЕГ ЛАРИН — С Егорычем в магазин. Туда и обратно. Сцены из захолустной жизни	96
ЕЛЕНА ЕЛАГИНА — Воздушными глазами, стихи	120
ИВАН ОБЛАСОВ — Колокола и облака, стихи	123
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ — Три рассказа	126
ЛЕВ ОЗЕРОВ — Из последних стихов	152
ЛЕВ КОТЮКОВ — Сны погибших, стихи	153
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК — Все люблю и ничего не жду, стихи	155

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. САДОВНИКОВ — «Оттепель» в зоне	157
ЮРИЙ ГЛАЗОВ — Ранний Сахаров	165

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Свой среди своих. Савинков на Лубянке	172
---	-----

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

ЕЛЕНА ОРЛОВСКАЯ-БАЛЬЗАМО — Человек в истории: Солжени- цын и Ипполит Тэн. Перевела с французского Дарья Румянцева	195
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО — О критике вчерашней и «сегодняшней». По следам одной дискуссии	212
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Герменевтика, экспертиза, дегустация, сан- эпиднадзор	223

ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Прощай... и помни обо мне	226
---	-----

(См. на обороте)

Татьяна Касаткина. Философские камни в печени.

Никита Елисеев. Морок Александра Бородыни.

Борис Давыдов. Всего и надо, что вчитаться.

Константин Сергиенко. На букву «Б», или Не лежи «кверху брюхом».

КОРОТКО О КНИГАХ:

Вл. Славецкий. — I. Александр Коковихин. Около себя. Стихи. II. Николай Кононов. Лелет. Книга стихов. III. Евгений Блажеевский. Лицом к погоне. Книга стихотворений. ♦ Юрий Кублановский. — Валерий Хатюшин. Русская кровь. Поэзия русского сопротивления 241

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ:

Е. Тихомирова. — Альманах «Остров» 246

КНИЖНАЯ ПОЛКА 248

ПЕРИОДИКА 252

SUMMARY 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novy Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

ЕЛЕНА ОРЛОВСКАЯ-БАЛЬЗАМО



ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ: СОЛЖЕНИЦЫН И ИПОЛИТ ТЭН

Солженицыну было восемнадцать лет, когда он задумал написать историю русской революции и, минуя официальную советскую мифологию, объяснить истоки тех потрясений, которые принес России 1917 год. Однако, сохраняя в течение всей жизни этот замысел и воплотив его наконец в «Красном Колесе», Солженицын оставался в первую очередь писателем, а не историком, и, соответственно, жанр «Красного Колеса» определен им как опыт художественного (а не исторического) исследования.

Одна из причин такого парадокса — невозможность работы в архивах и отсутствие в публичном обращении многих документов, относящихся к русской революции. Эту причину называл и сам Солженицын. Но не она в конечном счете определила литературный способ осмысления истории. Как объяснял Солженицын в своих интервью 1975 — 1976 годов, «художественное исследование — это такое использование фактического (не преображённого) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединённых, однако, возможностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью никак не слабей, чем в исследовании научном» (*Публ.*, т. 2, стр. 515 — 516); «художественное исследование выступает не просто как эрзац научного, не просто потому, что научное невозможно — так будем искать нечто другое. Но потому что (это моё глубокое убеждение) — художественное исследование по своим возможностям и по уровню в некоторых отношениях выше научного. Художественное исследование обладает так называемым тоннельным эффектом, интуицией. Там, где научному исследованию надо преодолеть перевал, там художественное исследование тоннелем интуиции проходит иногда короче и вернее» (там же, стр. 483).

Однако, думается, вопрос о глубине «тоннеля интуиции» — это вопрос не о разнице между историком и писателем, а о степени таланта конкретных людей, пишущих об истории.

Качественное их различие — только в формах выражения ими своих интерпретаций. Историк, считающий себя ученым, не может позволить себе представлять события повседневной жизни в формах самой этой жизни. Язык историка — метаязык: он предназначен для описания событий с точки зрения человека другой, позднейшей эпохи.

Автор — французская исследовательница русского происхождения; выпускница Московского университета, с начала 80-х годов живет во Франции (в Шартре); историк, автор ряда статей по русской литературе, переводчица на французский язык современной скандинавской прозы.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

А. И. Солженицын: *Публ.* — Публицистика. Т. 1 — 2. Париж. 1989.
«Красное Колесо». Париж: *Август 14* — Август Четырнадцатого. Т. 1 — 2. 1983. *Октябрь 16* — Октябрь Шестнадцатого. Т. 1 — 2. 1984. *Март 17* — Март Семнадцатого. Т. 1 — 3. 1988. *Апрель 17* — Апрель Семнадцатого. Т. 1 — 2. 1991.

И. Тэн: *Истоки* — Истоки современной Франции (Taine H. «Les origines de la France contemporaine». Т. 1 — 3. Paris. 1986).

Журнальный вариант.

В подавляющем же большинстве исторических романов, чья художественная парадигма задана романами Вальтера Скотта, — при всей их исторической познавательности — главенствует, так сказать, «актерство» писателя, литературная игра в события прошлых времен и лишь затем ответы на коренные вопросы, поставленные историей, типа «что делать?», «кто прав — кто виноват?», «кому править?» и т. п. В исторической беллетристике этого рода имитация повседневного быта первична: главное — разговоры, жестикуляция, предметный антураж, любовные интриги и личные страсти; коренные же вопросы истории второстепенны, и, как правило, ответ на них сводится к элементарным моральным императивам (например, добрые и честные люди лучше злых и подлых). Чтобы убедиться в этом, достаточно припомнить череду последователей Вальтера Скотта — от его современников и ближайших потомков Фенимора Купера, Загоскина и Дюма до писателей наших дней Пикуля или Мориса Дрюона. На их фоне, естественно, резко выделяются немногие литературные инсценировки исторического материала, где литературная игра подчинена интеллектуальной цели — решению глобальных историософских задач.

В русской литературе первый опыт подобного рода произвел Лев Толстой в «Войне и мире», последний по времени — Солженицын. «Все цитаты истинны, — подчеркивает Солженицын, — но не все дословны, концентрация действительности есть требование искусства» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 587). Примерно то же можно сказать и о персонажах «Красного Колеса»: вымышленные герои, так же как исторические лица, истинны в том смысле, что концентрируют в своем мышлении и поведении действительность своей эпохи — это не индивидуально неповторимые «характеры», а «типажи», «герои времени».

В одном из телеинтервью 1976 года на вопрос, по каким критериям — историческим или художественным — следует оценивать публикацию фрагмента «Красного Колеса» «Ленин в Цюрихе», Солженицын отвечал: «...цель моя — восстановить историю в её полноте, в её многогранности. Для этого, однако, приходится применять видение, глаз художника, потому что историк пользуется только фактическими, документальными материалами, из которых значительная часть уничтожена <...>, и он ограничен в возможностях проникнуть в суть событий. Художник может больше и глубже увидеть благодаря пронзающей силе этого метода — художественного видения. Так что это не роман, но это применение всех художественных средств для того, чтобы глубже проникнуть в исторические события» (*Лубл.*, т. 2, стр. 503).

«Красное Колесо» тем и отличается от обычной исторической беллетристики, что искусство здесь подчинено «проникновению в историю»: установлению исторических истин — тех истин, что в иных историософских построениях принято называть «причинами», «началами», «истоками», «корнями» (и т. п.) исторических происшествий. Именно историософская насыщенность Солженицына позволяет нам рассматривать «Красное Колесо» в одном ряду с собственно историческими исследованиями и, соответственно, позволяет сравнивать «Красное Колесо» с сочинениями именно этого ряда.

Ближайшим аналогом «Красного Колеса» в этом ряду является многолетний труд Ипполита Тэна «Истоки современной Франции» (написан за сто лет до «Красного Колеса» — в 1870 — 1880-е годы). Привлекает нас этот труд прежде всего потому, что и культурная ситуация, в которой создавались «Истоки...» и «Красное Колесо», и глобальные намерения их создателей, и система приемов построения исторических сюжетов поразительно похожи.

В «Истоках современной Франции» нет «художественного» вымысла, то есть нет выдуманных персонажей, их взаимодействий с лицами историческими, нет внутренних монологов и проч., и проч. Но сам отбор фактов создает эффект вполне равнозначный тому, что достигается вымышленными литературными эпизодами. «Его сюжетные ходы блистательны: каждая глава — самостоятельный фрагмент, но при этом теснейше связанный с предыдущей и следующей главами. Все, кажется, происходит под давлением некой неотвратимой силы, как бы навязывающей Тэну очередной поворот сюжета, хотя на самом деле такое впечатление создает у читателя сам Тэн»¹. Эти слова биогра-

¹ Leger F. Monsieur Taine. Paris. 1993, p. 251.

фа Тэна отлично применимы к Солженицыну. И в «Истоках...», и в «Красном Колесе» даже простой пересказ событий несет на себе явственный отпечаток чисто литературной, рассчитанной на зрительное восприятие «картинности». И часто эффект «силы, как бы влекущей за собой повествование», создается за счет того самого литературного приема, который мы назвали имитацией повседневности. Вот два примера, и пусть читатель попробует, не заглядывая в следующие после них сноски, угадать, кто это пишет — Тэн или Солженицын? «Караулы, посылаемые на охрану, напивались вслед за громилами. В одном складе пиво стало затоплять подвал — солдаты пили его пригоршнями. Там же почему-то хранились и бутылки с купоросным маслом, некоторые хватили бутылки, вливали жидкость в рот, обжигались, отравлялись»; «На следующий день, 13-го, <...> они, взломав топорами двери, стали сокрушать на своем пути все подряд — библиотеку, лабораторию, шкафы, картины; наконец устремились в подвал, где принялись вышибать днища у винных бочек, и — начался пьяный разгул; на другой день в подвале нашли тридцать мертвых тел, утонувших в вине, — и мужчин, и женщин, среди них была даже одна на девятом месяце беременности» (первая цитата из Солженицына — *Апрель 17*, т. 2, стр. 432; вторая из Тэна — *Истоки*, т. 1, стр. 342).

Случайные бытовые детали (девятый месяц беременности, купоросное масло, «пили пригоршнями») создают эффект чисто литературный: как бы автор ни пояснял подобные сцены, его исторический комментарий все равно окажется вторичен по сравнению с художественным впечатлением, производимым самой сценой.

Вряд ли можно говорить о каком-либо влиянии Тэна на Солженицына (в какой мере Солженицын знаком с «Истоками...» — нам неизвестно)². Здесь не влияние, а сходство культурных ситуаций, в которых интерпретируется структурно сходный исторический материал, а это, в свою очередь, влияет и на задачи, которые ставит перед собой историк.

Во Франции XIX века революция 1789 года стала идеологическим мифом, составившим одно из оснований французской постреволюционной культуры (вплоть до сегодняшнего дня — достаточно вспомнить торжества 1989 года в честь 200-летия революции). Поэтому первостепенной задачей Тэна была демифологизация революции — преодоление того, что он сам называл невежеством, — освобождение от ложных понятий об историческом событии, предопределившем дальнейший ход жизни французского общества. Надо ли объяснять, как обстояли дела в Советском Союзе 70 — 80-х годов с интерпретацией революции семнадцатого года? Поэтому ту же задачу, что ставил перед собой Тэн (усложненную, впрочем, недоступностью архивов), мы видим и в «Красном Колесе»: надо рассказать то, что было на самом деле, расчистить завалы лжи и предъявить истину.

Ни Тэн, ни Солженицын не были сами участниками описываемых ими событий. Но тот и другой сформировались в первую послереволюционную эпоху и воспринимают революцию не в давно прошедшем, а в только что миновавшем времени. «Каждый из нас в молодости, — писал Тэн, — был знаком хоть с кем-то из живших тогда, во время революции» (*Истоки*, т. 1, стр. 5). «Может быть, моё поколение, — говорил Солженицын, — последнее, которое может ещё этот материал писать не совсем как историю, не в полном смысле историческое повествование, а ещё почти по живой памяти. Моя детская память всё-таки очень сохранила послереволюционный воздух. В 20-е годы ещё жило население в России почти всё дореволюционное, ещё этот воздух я ощущаю, он помогает мне в обработке материала» (*Публ.*, т. 2, стр. 524).

И Тэн и Солженицын ставят перед собой одинаковые сверхзадачи — осознать то, как революция определила современное состояние страны (соответственно — Франции в 70 — 80-е годы XIX века и России в те же годы двадцатого столетия). И для того и для другого (в отличие от многих их современников) революция — это катастрофа, разрушение нормального хода истории. Оба противопоставляют естественное состояние нации и общества (органическая эволюция, постепенный и ритмичный ход событий) революционным

² Труд И. Тэна переводился на русский язык: Тэн И. Происхождение современной Франции, т. 1 — 5. СПб. 1907. (*Примеч. ред.*)

скачкам, разрушающим нормальное движение жизни. Тэн: «Форма, в которой воплощено содержание национальной жизни, полностью зависит от национального характера и течения истории; если эта форма не является естественным слепком с национального характера, она треснет, и вся жизнь разобьется вдребезги» (*Истоки*, т. 1, стр. 4). По Солженицыну же, история — река, у нее свои законы течений, поворотов, завихрений. Но, продолжает писатель, приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо перепустить ее в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, ее только на вершок разорви — уже нет струи. «В здоровом нормальном развитии ничто живое не знает революций. Революция — это всегда катастрофа, распадаются государственные связи, и общество переходит в расплавленное состояние» (*Апрель 17*, т. 2, стр. 530).

Почти одинаково Тэн и Солженицын определяют причины революционных катастроф. Во французской революции виновно дворянство, игнорировавшее свой долг перед обществом: «Франция ослабла задолго до краха монархии, и виновником упадка была привилегированная часть общества, забывшая о своем назначении» (*Истоки*, т. 1, стр. 67). Дворянство, замкнувшись в границах своего сословия, изолировало себя от всего общества и сосредоточилось на своих утопических представлениях. Когда же началась политическая неразбериха (1789 — 1791 годы), власть захватили те, кто решил немедленно реализовать утопические теории, — якобинцы. Все кончилось террором 1793 — 1794 годов. Нечто подобное легко увидеть и у Солженицына. Вина за революцию возлагается на интеллигенцию, которая вместо того, чтобы искать пути к национальному согласию, сделала все, чтобы расширить трещину между обществом и властью до масштабов пропасти: «Интеллигенция сумела раскачать Россию до космического взрыва, да не сумела управлять её обломками» (*Лубл.*, т. 1, стр. 85). В итоге обломками «управили» те, кто готов был реализовать интеллигентские теории практически, — большевики.

Революция — процесс, состоящий из событий и для Тэна, и для Солженицына неравных по своему значению. Среди прочих встречаются эпизоды, которые как бы концентрируют весь смысл происходившего доселе и являются эмбрионом последующих происшествий. Эти эпизоды — точки поворотов истории. У Тэна такие точки называются *моментами*; у Солженицына — *узлами*.

«В этой кривой истории, — говорил однажды Солженицын, — то есть в смысле математическом кривая линия истории, — есть критические точки, их называют в математике особыми. Вот эти узловые точки — как Узлы, — я их подаю в большой плотности, то есть даю десять, двадцать дней непрерывного повествования. Я выбираю эти точки главным образом там, где внутренне определяется ход событий, не внешние обязательные события, а внутренние, — те, где история поворачивает или решает» (*Лубл.*, т. 2, стр. 525). Разумеется, «момент» Тэна и «узел» Солженицына определяют лишь структурное сходство их повествований. Конкретный смысл этих ключевых эпизодов подчинен разным понятиям того и другого о ходе истории.

«Момент» Тэна — это яркое проявление тех закономерностей, которые в скрытом виде таились в предшествующих событиях. В тэновской истории нет ничего случайного — все происходящее должно было произойти (и Тэн всегда находит объяснение тому, почему что-то должно было случиться и к чему это случившееся должно было привести). История революции Тэна — это цепь логично вытекающих друг из друга событий. Поэтому исторические эпизоды, не укладывающиеся в схему выводимых Тэном закономерностей, или вовсе не учитываются, или интерпретируются согласно заданной модели объяснения. Так, бегство Людовика XVI в Варенн интересует Тэна только в качестве катализатора предопределенного хода событий — это лишь очередная ступень на исторической лестнице, по которой восходят к власти якобинцы. Что было бы, если бы побег состоялся? если бы короля не узнал случайный человек? если бы его не вернули в Париж? Эти вопросы даже не подразумеваются. Согласно Тэну, то, что произошло, не произойти не могло, и обсуждать варианты нет смысла.

«Узлы» Солженицына, напротив, подразумевают прежде всего вопросы типа что было бы? и что могло бы быть? «Узел» — это точка в истории, содержащая массу потенциальных возможностей для самых непредсказуемых поворотов исторического сюжета. И Солженицын всячески подчерки-

вает, что в «узлах» истории совершаются события, результат которых мог бы быть прямо противоположен тому, что мы имеем. «Август Четырнадцатого» — разгром русской армии, «Март Семнадцатого» — низложение монархии, «Апрель Семнадцатого» — общественный хаос, давший большевикам шанс для захвата власти, — все могло бы произойти иначе: и поражения можно было избежать, и трон устоял бы, и порядок можно было бы восстановить... Если бы люди, находившиеся в эпицентре этих событий, и прежде всего люди, располагавшие реальной властью, сумели понять смысл происходящего. Точнее даже, не понять — почувствовать.

Любимые герои Солженицына отличаются специфическим свойством — своего рода историческим чутьем, позволяющим внезапно почувствовать, как следует вести себя в критической ситуации. Это чутье выражается неожиданно нахлынувшим воодушевлением, потребностью говорить с людьми, убеждать их, влиять на них (как, например, случается с Воротынцевым, после разговора с которым солдаты отправляются добровольцами на защиту Найденбурга).

«Исторический» энтузиазм пробуждается в героях Солженицына не часто, пробуждается далеко не во всех, иные вовсе не способны почувствовать момент и демонстрируют полную историческую недееспособность — неспособность повлиять на ход событий. Так, жизнь Николая II в «Красном Колесе» — это вереница нереализованных возможностей, предоставлявшихся человеку, который мог изменить ход истории. Вот взятый на выбор эпизод: царь встречается с представителями Думы: «Если бы этот человек не был вечно скован заклатою непростотой от неуверенности в себе — ещё и в этот день ему доступно было изменить историю России: вдруг бы глянув открыто, улыбнувшись широко, руки депутатам пожимая по-мужски, да даже взойдя быстро на думскую трибуну под свой же холодный длинный портрет и оттуда с широкой душой открывшись российским подданным <...>. Но ещё со смертью Александра III умерла энергия династии и её способность говорить открытым полным голосом» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 328).

Историческое чутье важно в любом поступке человека, хоть как-либо касающемся общественной жизни: «Да знал Воротынцев: с любой тёмной толпой — всегда можно столкнуться, только объясняй чётко, смело — и не зевай подхватывать момент» (*Апрель 17*, т. 1, стр. 107) — то есть умей использовать случай, чтобы переломить неблагоприятный ход событий. Можно сказать, что история по Солженицыну — это не predetermined, а вероятностный процесс и движущей его силой являются не безличные закономерности, а конкретные люди. И если люди ошибаются или бездействуют в тот момент, когда требуется их волевое усилие, вина за последующую катастрофу лежит на них самих.

Требования Солженицына к отдельным людям полностью применимы и к той общности, которую они образуют, — к обществу в целом, к народу, к нации. Отдельные ошибки, ложный выбор отдельных людей, их бездействие или попустительство этим ошибкам и этому выбору со стороны других создают в конечном счете коллективную вину и ответственность: «В том и особенность единых организмов, что они вместе пользуются и вместе страдают от действия каждого их органа. Даже когда большинство населения вовсе бессильно помешать своим государственным руководителям — оно обречено на ответственность за грехи и ошибки тех. И в самых тоталитарных, и в самых бесправных странах мы все несём ответственность — и за своё правительство, каково оно, и за походы наших военачальников, и за выслуги наших солдат, и за выстрелы наших пограничников, и за песни нашей молодёжи» (*Лубл.*, т. 1, стр. 52).

Это сказано еще в ту пору, когда Солженицын лишь приступал к работе над «Красным Колесом», — в начале 70-х. И имел в виду он вполне конкретный выбор, который мог сделать тогда простой советский человек, в те годы этот выбор, по убеждению Солженицына, мог заключаться лишь в одном — в отказе от участия во всеобщей лжи. Не обсуждая вопроса о степени утопичности подобного отказа в те времена, обратим внимание лишь на то, что проблема коллективной вины для Солженицына не метафизическая, а вполне конкретная, можно даже сказать, практическая проблема, относящаяся к повседневной жизни каждого человека. Тогда, в начале 70-х, сделав собственный конкретный выбор, Солженицын звал к нему и своих соотечественников, бо-

лее того — давал конкретные указания, какой выбор в каких ситуациях следует совершать (см. статью «Образованщина»). Нечто подобное мы видим и в «Красном Колесе», с тем естественным отличием, что речь идет не о потенциальных возможностях («Будущее <...> в наших руках. Если мы будем делать правильные выборы» — «Образованщина» /Публ., т. 1, стр. 112/), а о возможностях упущенных, лежащих тяжким грехом на всех: «...законы личной жизни и законы больших образований сходны. Как человеку за тяжкий грех не избежать заплатить иногда ещё и при жизни — так и обществу, и народу тем более, успеется» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 61).

Каждый несет груз своей ответственности, и чем шире вероятный диапазон действий человека, тем тяжелее этот груз: «Но: никакими добродетелями не загородится, не оправдается тот, кто взялся вести судьбы тысяч — и худо вёл их. Пожалеем солдата-новичка под первыми пулями и разрывами в захвате злой войны, а генерала-новичка, как бы ни было муторно ему и тошно, — не пожалеем, не оправдаем» (*Август 14*, т. 1, стр. 384). В этом убеждении Солженицын — прямой антипод Льва Толстого: «И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, — да слишком много раз показал нам XX век, что именно они» (там же, стр. 383).

Идеи Толстого относительно того, что ход истории зависит от инстинктивных, неосознанных движений народов, что отдельное лицо не может влиять на ход событий, — эти идеи, с точки зрения Солженицына, ведут в конечном счете к оправданию безответственности. Если действия отдельного человека не могут изменить общего хода событий, зачем вообще что-то предпринимать? Во время спора с Варсонофьевым Саня Лаженицын, когда-то толстовец, заключает: «Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по-моему <...> не честно» (*Август 14*, т. 1, стр. 403).

Настойчиво, на протяжении всех шести тысяч страниц своей эпопеи, Солженицын повторяет: необходимо действовать; история — это поле действия личных волей, и побеждает тот, чья воля упорнее.

Поэтому история нации (история страны, история народа) всегда производна от индивидуальных усилий самостоятельно действующих личностей: «...один полк — один народ, другой полк — другой народ. И тот же самый полк — утром один народ, вечером другой. А вообще всякий полк занимает только протяжение, содержит невыразительное число, а войну делают охотники, разведчики, смельчаки, первые атакующие. Как и историю делает — отборное меньшинство» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 332).

Этого отборного меньшинства не оказалось в России 1914 — 1917 годов. Едва начинается Первая мировая война, «с первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти что не на ком остановить благодарного взгляда» (*Август 14*, т. 1, стр. 383). Люди, стоящие у власти, не способны стать лидерами нации и сами же доводят страну своими ошибочными действиями или бездействием до революции.

«Эта война перешла пределы, перешла размеры войны во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие — но не от природы, а от нас, направителей» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 146). Отсутствие талантливых «направителей» — лейтмотив «Красного Колеса»: «Вождя! Вождя бы! Быстро, умного, энергичного генерала, которому сразу поверила бы Армия и за ним пошла! — и все было бы решено! Такому вождю-спасителю Воротынцев готов был отдаться безоговорочно. И в военной истории такие вожди сколько раз появлялись в нужный момент. А вот у нас — нет. С нами так худо — что уже и нет» (*Апрель 17*, т. 1, стр. 103 — 104).

Для Солженицына несостоятельность власти прямо обусловлена системой служебных отношений — той государственной (и в том числе военной) иерархией, что сложилась на вершинах властной пирамиды. Это хорошо разъясняют друг другу Воротынцев и Шингарёв: «Шингарёв понимал так: „... всё разваливается из-за тупого сопротивления власти. <...>” — „Какая-то чёрная полоса, никого не рождающая. Не рождаем великих деятелей. Покинули Росси и пророки, и великие писатели. Но самое удивительное: почему не выдвига-

ются полководцы? Третий год небывалой войны, какой Россия никогда не вела, 14 миллионов перебивало под ружьём, — отчего же Суворова нет? Ни даже Скобелева?» — Полководцы? <...> Воротынец ли не думал о них! <...> „Что они не рождаются — не случайность. Они — рождаются, но верхи служебной лестницы непроходимы для них, из-за тупости. На дивизиях, на корпусах, даже в армиях по сравнению с началом войны сейчас толковых генералов немало <...> А выше — не пройти им. Ну, как и у вас с министрами”» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 326).

«Верхи служебной лестницы»... Монархия, и тем более самодержавная монархия, — это вовсе не цепь гор с вершинами большей или меньшей величины, но регулярно выстроенная пирамида, широкая у основания, как и положено пирамидам, сужающаяся к своему верху — к своей единственной вершине. Эффективность действий «направителей» определяется в такой пирамиде тем, в какой степени эти действия находятся «под твердой рукой». «Под чьей же это твердой рукой?» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 475).

И тут мы подходим к тому пункту, в котором сравнение «Красного Колеса» с «Истоками...» Тэна может помочь пониманию особого статуса Солженицына в историософии XIX — XX веков. Убежденность Солженицына в том, что осознанные и вовремя совершенные действия отдельных лиц могут изменить ход истории, явно расходится с пониманием исторических процессов, обладавшим в европейской и русской историософии последних двух столетий. С тем способом понимания истории, согласно которому значение личности в ней ставится в прямую зависимость от факторов сверхличных.

Сверхличными факторами в разных историософских системах XIX — XX веков считаются воля Провидения, или сила вещей (обстоятельств), или социально-экономические показатели, или космическое влияние, или коллективное бессознательное (и т. д., и т. д.). При всем разнообразии названий и интерпретаций этих факторов суть их едина: историософ концентрирует свои логические способности или мистические проникновения на доказательстве объективного существования надчеловеческих сил, управляющих ходом событий помимо воли отдельного человека. Гегель, Шпенглер, Тойнби, наши славянофилы и евразийцы, новейшие специалисты по психоаналитической истории или историческому этногенезу, авторы советских и постсоветских учебников истории — все они, каждый на свой лад, доказывали и доказывают не преодолимую отдельным лицом силу сверхчеловеческих факторов — силу общих законов, согласно которым то, что произошло, не могло не произойти.

Основанием таких доказательств служит свойственная (как рационально, так и мистически настроенным) историософам вера в предопределение. Кто или что предопределяет течение жизни (абсолютный дух, общественные формации, космическая пассионарность, русский Бог или что-либо еще), для наших рассуждений сейчас не принципиально: это особый вопрос, который требует особого разбора. Для нас сейчас важно констатировать, что разные по именованию и аргументации сверхличные факторы — это факторы, которыми историософия последних двух столетий ограничивает свободную волю индивидуума в истории и снимает вопрос о свободе его выбора.

Блестящим выразителем такого взгляда на ход истории был Ипполит Тэн. Сравнение его построений с сюжетами Солженицына тем любопытнее, что события, послужившие материалом их книг, как уже говорилось, сходны по своей структуре и, естественно, сюжеты «Истоков...» и «Красного Колеса» изобилуют персонажами, выполняющими одинаковые функции.

В «Истоках...» и в «Красном Колесе» есть целый ряд героев, сопоставление которых неизбежно при сравнении этих двух произведений. Во-первых, это фигуры самодержцев (у Тэна — Людовик XVI, у Солженицына — Николай II); во-вторых, фигуры новых политических лидеров, вынесенных историей на вершины власти (Наполеон — у Тэна, Столыпин и Ленин — у Солженицына); в-третьих, это теоретики революции (философы — в «Истоках...», либеральная интеллигенция — в «Красном Колесе») и практики революционного мятежа (якобинцы и большевики).

Людовик XVI и Николай II

«Недуг начинается там, откуда управляют страной: здесь очаг всех несправедливостей и несчастий; здесь зреет нарыв, здесь он и прорвется» (*Истоки*, т. 1, стр. 66). Эта фраза Тэна фокусирует его отношение к несчастному королю Франции.

Людовик XVI в «Истоках...» — не исключительный персонаж, а только представитель своего класса — дворянства. На протяжении всей второй книги «Истоков...» Тэн проводит параллели между королем и дворянами, демонстрируя, что качественной разницы между ними нет. Описав жизнь в Версале, Тэн продолжает: «Каков царь, таков и псарь: дворяне подражают монарху, <...> и жизнь короля дублируется дворянами, в меньших, конечно, масштабах, но в любой даже самой окраинной дворянской усадьбе» (*Истоки*, т. 1, стр. 88).

Людовик XVI как личность абсолютно не интересует Тэна, поскольку его личные качества почти не выражаются в его исторически значимом поведении. Единственная во всех «Истоках...» реплика, характеризующая короля как человека, лишь подчеркивает отсутствие в жизни Людовика XVI какого-либо общественного смысла; эта реплика относится к дневнику короля: «Это дневник псаря. Попробуйте отыскать здесь знаменательные даты, и вы будете изумлены их отсутствием. Он пишет только в те дни, когда при дворе была охота; другие события его не волнуют» (*Истоки*, т. 1, стр. 87). Роль короля, роль двора, роль парижского дворянства, роль провинциального дворянства — у Тэна все это даже не роли, а скорее декорации в театре общественной жизни. Надо ли удивляться тому, что в «Истоках...» не нашлось места даже рассказу о мученической смерти короля? То была смерть частного человека, а личный героизм не может стать предметом анализа общественных закономерностей.

Невнимание Тэна к судьбе Людовика XVI в конечном счете определяется его общей концепцией французского предреволюционного общества. Тэн убежден, что даже если бы Людовик XVI пытался проявить себя в роли верховного правителя, он не смог бы изменить общий ход событий, ибо сам институт монархии в том виде, в каком он сформировался за сто лет до Французской революции — еще при Людовике XIV, — не позволил бы королю полноценно использовать свои властные права. Для того, чтобы подобное могло произойти, «надо было бы полностью переделать все французское дворянство» (*Истоки*, т. 1, стр. 85).

Позиция Солженицына — прямо противоположна тэновской. Русский царь в «Красном Колесе» — отнюдь не первый среди равных. Он не венчает общественную пирамиду, а заперделен ей. На протяжении всего своего повествования Солженицын не перестает подчеркивать глубокое качественное различие между государем и всеми другими людьми, какого бы ранга и таланта они ни были и как бы они ни любили Россию. Даже в момент величайшего царского унижения — в сцене отречения — заклятый враг Николая II Гучков вынужден признаться, что «всё-таки, несмотря на всю его простоту, что-то в нём не давало забыть, что он — царь» (*Март 17*, т. 2, стр. 722).

Николай II Солженицына страстно предан своей стране; он настолько проникнут сознанием своей ответственности, что готов иногда отождествить себя с государством, как, например, когда он оказывается перед необходимостью подписывать манифест 17 октября: «Решение было страшное <...>. Ведь он изменял пределы царской власти, неущербно полученные от предков. Это было — как государственный переворот против самого себя» (*Август 14*, т. 2, стр. 431). Когда позднее преследуемый со всех сторон Николай вынужден согласиться на конституционную монархию, он понимает свое согласие как акт отступничества: «Самому — ему нисколько не нужна власть, он не любит её, нисколько за неё не держится. Но он не может вдруг посчитать, что он не ответственен перед Богом. <...> И не может Государь сложить с себя ответственность перед русскими людьми.. Да как бы он был вправе: передать управление Россией людям, которые к этому не призваны? Которые сегодня, может быть, принесут ей вред, а завтра — уйдут в отставку, — и где тогда вся их ответственность?.. Как же можно оставить Россию без верной преемственности? Как смеет Государь смотреть на легкомысленную деятельность таких людей — и притворяться, что не он, монарх, отвечает перед Богом и Россией,

но думское голосование? Если он уже ограничил в Девятьсот Пятом свои права или ещё ограничит их сейчас — вся ответственность всё равно остаётся на нём» (*Март 17*, т. 2, стр. 457).

Именно это убеждение и становится фатальным: груз ответственности парализует Николая, не позволяя ему принимать ответственные решения. С одной стороны, он достаточно ясно сознает свое положение: «Николай перед собой и перед Богом знал свои недостатки. Он не только считал себя царём неудачливым, но — и недостойным. И не было у него ни грана тщеславия. И никогда не гнался за популярностью. Однако с годами всё больше, а от войны и полностью он отдавал себя всего этому званию, этому бремени — и уж теперь-то знал его вес и давление» (*Март 17*, т. 1, стр. 621). С другой же стороны, сознавая свою единственность в отношениях с Россией, он не может признать, что кто-то другой способен управлять страной. Так, Столыпин в его глазах непригоден для этого только потому, что он — не царь: как может он знать, что лучше для страны, если он не имеет той внутренней связи с Россией, какую чувствует царь?

Груз царской ответственности утяжелен запутанностью конкретных вопросов, ждущих царского решения. Все проблемы русской жизни предстают перед Николаем II сквозь призму противоречивых частных мнений: «Всегда все добиваются с докладами, мнениями, одни хотят одного, другие противоположного, всё надо выслушивать, прочитывать, подписывать» (*Март 17*, т. 2, стр. 619). В результате личная воля Николая II, его личный выбор в пользу того или иного решения, лишается того высшего смысла, который он сам ему придает (ибо зависит от мнений докладчиков), а сама проблема все равно не решается, ибо другие частные мнения, противоположные тем, что предпочел царь, начинают немедленно противоречить первым. «А когда в своей жизни Николай был волен решать? Всегда он был сжат обстоятельствами и людскими требованиями. <...> Но как ни реши — всегда общество свистит, улюлюкает, недовольно» (там же, стр. 460, 619).

Тем не менее Солженицын утверждает: Николай II мог действовать, мог повлиять на ход истории. Как бы ни противоречило ему общественное мнение, он обладал огромной властью, и его преступление — в том, что он ее не использовал. Можно было бы избежать войны с Японией. Можно было бы не вовлекаться в Мировую войну... Многое можно было бы повернуть иначе. Причина неспособности царя исполнить свою царскую миссию — не в недостатке интеллекта, не в отсутствии личного мужества, не в недостаточной любви к своей стране, а в его исторической глухоте: Николай не чувствует пульсации времени, не различает его «узлов».

«Николай заходил, заходил по комнате, как раненый, еле скрывая, что ломает пальцы. Его изводило, тянуло в разные стороны, разрывало. Он должен был вот сейчас, вот сейчас принять величайшее решение! — и ни присутствующие, ни отсутствующие, никто не мог помочь ему советом, а голос Господа не слышен был явно. <...> решать он всегда обречён был сам, колеблющейся, измученной душой!» (*Август 14*, т. 2, стр. 449). Не слышащий историю, не умеющий выбирать, не способный к решительному действию, император тем не менее обязан действовать. Но ему требуются хоть какие-то ориентиры — какие-то принципы, хоть какие-то практические правила, ибо, сознавая свою слабость как государственного деятеля, не может же он руководствоваться в своих решениях бросанием монетки: орел или решка? И тогда Николай II начинает действовать исходя из человечески близких и понятных ему законов — законов частной жизни.

Он верен этим законам не только в отношениях с собственными министрами, но и в отношениях с императором Вильгельмом: разрыв между Россией и Германией для Николая — это «как разрушение семьи» (*Август 14*, т. 2, стр. 455). Теми же законами продиктовано его поведение в начале революции. В «Марте Семнадцатого» Воротынцев пытается понять политическую ситуацию, чтобы определить свое место в ней, и более всего озадачен внезапным отъездом царя из ставки: «И вздорная, непонятная, самоубийственная поездка Государя! Все эти дни ведь он знал о событиях с самого начала — и что же он решил? Куда поехал? <...> Воротынцев <...> пошёл в ресторан — и пообедать, и поразмыслить, выиграть время, отстояться, не делать пустых движений. И

тут, над тарелками, вдруг подумал: а Государь-то едет просто-напросто к жене...? Всего-навсего...? — Тогда он — погиб. И всё погибло» (*Март 17*, т. 2, стр. 398 — 399). Итак, Николай едет «всего-навсего» к жене, и эта поездка стоит ему трона. И когда чуть позже, попав в западню, император подписывает указ об установлении конституционной монархии — один из документов, который, как он прекрасно сам понимал, ведет его к полному поражению, он думает опять прежде всего о своей семье: «И тут вдруг черезусильная и стеснительная улыбка выказалась на его больших губах под густыми усами: — А как вы думаете, Николай Владимирович, теперь смогу я проехать в Царское Село? Ведь у меня, знаете, дети больны корью» (там же, стр. 482), — говорит император одному из генералов, вынудивших его пойти на уступку. И наконец, когда наступает финал и Николай должен подписывать акт об отречении, он собирается сначала отказаться от престола в пользу своего сына Алексея (лишь бы спаслась Россия!), но, поскольку в этом случае ему придется расстаться с сыном, он отменяет такое решение: «Так вот, господа. Сперва я уже был готов пойти на отречение в пользу моего сына. Именно это я подписал сегодня в три часа пополудни. Но теперь, ещё раз обдумав, я понял... Что расстаться с моим сыном я не способен» (там же, стр. 725 — 726). Выбор вполне логичный для солженицынского Николая II: забота о семье оказывается первостепеннее, чем спасение России.

Итак, причиной трагедии Николая и краха его царствования оказывается смешение разных сфер жизни — личной и общей. Он их смешивает потому, что, в сущности, частная семейная жизнь — единственный центр притяжения его души, а остальное — только досадное приложение к ней. Поэтому не случайно на протяжении всего его внутреннего монолога в «Красном Колесе» звучит рефреном мечта частного человека: «А как хорошо бы, правда, всё это бросить да поехать доживать век в Ливадию!» (*Март 17*, т. 2, стр. 619).

Начиная с момента отречения — после того, как Николай из царя делается частным человеком, — поведение его становится иным: он ведет себя в высшей степени достойно и уже не совершает промахов. Так происходит не потому, что он изменился (он остался тем же, что был, — просто теперь, оставаясь только внутри своей семьи, он живет истинно своей жизнью), — изменяется взгляд романиста. К Николаю — частному лицу Солженицын отнюдь не так строг, как к Николаю — государственному деятелю.

Наполеон. Ленин. Столыпин

Наполеон — единственное лицо, удостоенное Тэном подробного рассказа и, так сказать, портрета в полный рост. Две глобальных исторических функции Наполеона в «Истоках...» — это разрушение старого порядка и создание нового. У Солженицына эти функции распределены между двумя персонажами, следующими в русской истории в обратной хронологической последовательности: созидателя Столыпина заменяет разрушитель Ленин.

Наполеон добился прекращения революции и стал строить новое французское общество. На фоне общего тэновского детерминизма могущество Наполеона может показаться нелогичным. Однако это не так. Наполеон тоже вполне детерминированный персонаж. Для Тэна «совершенно очевидно, что он не француз и не человек XVIII века: он принадлежит другой расе и другому историческому поколению» (*Истоки*, т. 2, стр. 372). Итальянец по происхождению, он «никогда не учил и не выучил французской орфографии, не чувствовал французского языка, не понимал глубинного смысла и связи французских слов» (там же, стр. 381). Ничего чудесного в его появлении на исторической сцене для Тэна нет: он тоже, как и всякое историческое лицо, — закономерное следствие предопределенного хода событий, детерминистичной истории — только истории не французской, а корсиканской.

Основная функция Наполеона в «Истоках...» — быть Иностранцем, и именно это позволяет ему сделать французское общество, подавленное революционными испытаниями, своей добычей. Он потому так удачлив, что свободен от жесткой исторической обусловленности, связывающей действия французов, — свободный от детерминизма французской истории, он свободен в своих действиях по отношению к Франции и действует там, как удачливый

пират. Франция для Наполеона — только средство достижения его главной цели — обладания властью. Он хочет стать властелином Европы, а затем и всего мира. Поэтому Тэн и пишет, что, строя новый порядок во Франции, Наполеон действовал прежде всего как полководец, обеспечивающий тылы и формирующий во Франции плацдарм для наступления на Европу и мир.

Наполеон систематически уничтожал национальную память французов, сохраняя только одно — то, что Тэн называет «классическим духом», ставшим основой нового государства. Он заново создавал «Францию могущественную, подлинную, прочную, и при этом — единообразную, одетую в униформу, сделанную всю из одного куска, согласно одному принципу, единому и простому, Францию централизованную, администрированную <...>, словом, ту Францию, о которой мечтали еще в XVII веке Ришелье и Людовик XIV <...> — Францию, основанную на союзе философии и сабли» (*Истоки*, т. 2, стр. 461). Отличительная черта этой новой Франции — всемогущество государства: все решает государство, а любые естественные для органического развития общества движения подавляются; общество в этой новой Франции — «большая казарма» (там же, стр. 464, 467).

Функциям Наполеона в «Истоках...» структурно соответствуют функции Ленина в «Красном Колесе»: тот же излюбленный жест — рука за обшлагом жилета; тот же методический и постоянно действующий ум («ум Наполеона <...> умел делать не только общие и частные выводы, но и схватывал мельчайшие детали; <...> все происходившее в данный день отпечатывалось с абсолютной точностью» — *Истоки*, т. 2, стр. 392 — 393; «Вечно-работающий мозг Ленина никогда не замедлялся ни от какой внешней внезапности: он перерабатывал всякое вторгшееся событие, усваивал его и работал дальше» — *Апрель 17*, т. 1, стр. 390). Ленин у Солженицына, как и Наполеон у Тэна, не испытывает никаких теплых чувств к стране, являющейся главным объектом его действий: «Мы — антипатриоты!» (*Август 14*, т. 1, стр. 221). Презрение и инстинктивная ненависть лежат в основе его отношения к России. «А-а, попался хищный стервятник с герба! — ликует Ленин, узнав о начале Мировой войны, — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-корнать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! <...> Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделение! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу — отделение! Чоб ты подох!..» (*Август 14*, т. 1, стр. 230). Его интернационализм — не что иное, как форма русофобии. Узнав о кровавых событиях 9 января 1905 года, он (а вместе с ним и вся лениноцентричная русская эмиграция) торжествует: «Шли январским вечером с Надей по улице — навстречу Луначарские, радостные, сияющие: «Вчера, девятого, в Петербурге стреляли в толпу! Много убитых!» Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции!» (*Март 17*, т. 2, стр. 667). «И зачем он родился в этой рогожной стране? Четвертушкой ли крови он связан так, что привязала судьба к дрянной российской колымаге? Четвертушкой крови, но ни характером, ни волей, ни склонностями несколько не состоял он в родне с этой разляпистой, растяпистой, вечно пьяной страной. Ничего не знал Ленин противнее русского амикошонства, этих трактирных слёз раскаяния, этих рыданий якобы загубленных натур» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 119 — 120). В такой стране, прежде чем что-то менять, надо прежде все разрушить.

Как для Наполеона Франция, так Россия для Ленина — это страна, служащая материалом самореализации, это часть грандиозного проекта переустройства Европы и мира — проекта мировой революции. Однако, в отличие от французского императора, лидер большевиков — только проектер, его мечтаания соотносятся с реальной жизнью лишь в одном пункте — в деле захвата власти; все прочие его замыслы, по Солженицыну, — абсолютно утопичны. Его теории — результат чтения философских и экономических трудов — имеют чисто отвлеченный смысл, а гигантская практическая деятельность, по существу, сводится либо к умозрительным спорам, либо к мелочной и безостановочной борьбе с политическими антагонистами. В этом последнем занятии его энергия неиссякаема: «...политик — это тот, кто совсем не зависит от возраста, от чувств, от обстоятельств, в ком во всякое время года и дня есть постоянная машинность — к действиям, к речам, к борьбе. И у Ленина есть эта

отличная бесперебойная машинность, неиссякающий напор...» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 120). Но лишь только возникает необходимость реального действия — он бессилён: «Ленин — писал статьи. Брошюры. Читал рефераты. Произносил речи. Агитировал молодых левых. Всеевропейски сек оппортунистов. Он, кажется, досконально успел узнать вопросы промышленный, аграрный, стачечный, профсоюзный. Теперь, после Клаузевица, и военный. Он понимал теперь, что такое война, и как ведётся вооружённое восстание. И с настойчивой ясностью мог это всё разъяснить, кому угодно. И только одного он не мог — сделать. Только не мог он — взорвать броненосца» (там же, стр. 212). Реальность внушает ему страх своей непредсказуемостью, разрушает расчеты, ломает распорядок абстрактной работы ума: «Лишь два часа назад, к обеду, так было всё ясно: раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие и как будто даже не задело, не столкнуло, — а вот уже стало кивало. Уже отвлекало силы и ломало распорядок» (*Март 17*, т. 2, стр. 670).

Когда же Ленин явился в Россию, размятую двумя месяцами полной анархии, и столкнулся с ситуацией, казалось бы, для него созданной, — ситуацией разрушенной реальности, он мог бы наконец начать претворение своих теорий в практические дела. Но и тут Солженицын отказывает ему в самостоятельной исторической роли: в 1917 году, готовясь к захвату власти, Ленин выступает пешкой в грандиозной игре по «экспорту революции», затеянной Парвусом. «Совместный взрыв революции социальной и революции национальной при германской денежной и материальной поддержке» (*Октябрь 16*, т. 2, стр. 180) — в «Красном Колесе» это заслуга реалиста Парвуса, а не утописта Ленина.

Антиподом вождя мирового пролетариата является в «Красном Колесе» Столыпин: для него Россия — это прежде всего живой организм, и любые изменения, которые в ней необходимо произвести, должны быть органичными. «Главный узелок нашей жизни, всё будущее ядро её и смысл, у людей целеустремлённых завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определённо и верно. <...> У Петра Столыпина таким узлом завязалось рано <...>: русский крестьянин на русской земле <...>. Не знание, не сознание, не замысел — именно острое слитное чувство, где неотличима русская земля от русского крестьянина, и оба — они от России, а вне земли — России нет. Постоянное напряжённое ощущение всей России — как бы целиком у тебя в груди» (*Август 14*, т. 2, стр. 167 — 168). Характерно, что здесь одно из ключевых слов Солженицына — «узел» («узелок») — применено к судьбе отдельного человека: факт существенный, ибо Столыпин в «Красном Колесе» — это воплощение того типа исторического деятеля, чья частная судьба органически слита с судьбой нации. Столыпин обладает теми важнейшими качествами, которые в совокупности образуют лидера, способного организовать нормальную жизнь нации (и следовательно, её историю). У него — обостренная ответственность перед своей страной («Ответственность — величайшее счастье моей жизни» — там же, стр. 234), он энергичен, любит действовать решительно и весь отдается своим действиям. Эти качества по отдельности есть, как мы помним, и у Николая II, и у Ленина — но Николаю, при его чувстве ответственности, недостает решимости преодолеть свои частные, семейные чувства, а у Ленина, при его неумной энергии, нет ни ощущения реальности, ни ответственности. И самое главное, оба они глухи к Истории.

Не то Столыпин. Он умеет чувствовать те моменты, когда завязываются исторические узлы, и поэтому может иные из них вовремя развязать. Так, он сумел погасить революцию 1905 года, «и Россия из безнадёжного Смутного времени вдруг переплыла в мерные воды нормального государственного существования» (*Август 14*, т. 2, стр. 217). Он остановил волны терроризма анархистов и эсеров. Наконец, он заложил основу для коренного (но органического!) переустройства русского общества: «От этого столыпинского стояния мог начаться и начинался коренно-новый период в русской истории. <...> Эта обширная программа переустройства России к 1927 — 1932 годам, быть может, превосходящая реформы Александра II, простёрла бы Россию ещё невиданную и небывавшую, впервые в полном раскрытии своих даров» (там же, стр. 201, 243).

У Столыпина нет личных амбиций, собственные достижения он без колебаний приписывает Николаю II, не упускает «случая прославить Государя,

поставить в центре народных торжеств <...>, упоминать его только в тонах высочайших, приписывать ему заслуги собственных догадок и законов» (*Август 14*, т. 2, стр. 220). Он пытается повернуть депутатов Государственной думы от партийных интриг и мелкой политической борьбы к общему делу для блага России: «Он всё выступал перед 2-й Думой, надеясь образумить её и спасти для работы», «призывал к терпеливой работе для родины»; «Быть может, и он ожидал встретить здесь не этих, по арифметике населения он мог бы рассчитывать встретить здесь Думу крестьянскую, но вот оказалась такая — он и к ней обращался со всей серьёзностью, надеясь и этих убедить, несколько не подлаживаясь под оттенки их стиля, несколько не стыдясь обруганного понятия „патриот“» (там же, стр. 201, 175).

Но Столыпину не суждено спасти Россию. Его провиденциальная миссия так и осталась только одним из неразвязанных узлов вероятностной истории России. Само его появление в первом ряду государственных деятелей Солженицын квалифицирует как чудо: «Среди сотен государственных назначений — почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных — чудо русской истории было это назначение 26 апреля 1906 года в первый думский кабинет <...> на рубеже нового, думского периода России» (*Август 14*, т. 2, стр. 173). Однако по мере развертывания своей реформаторской деятельности Столыпин оказывался во все более глубокой изоляции среди того общества, которое он намеревался лечить: общество было не готово сознать собственное благо. Сначала в поддержке Столыпину отказали октябристы во главе с Гучковым, затем — вся Дума (за исключением крайне правых, преследовавших, впрочем, по разным причинам собственные цели), и, наконец, полусумасшедший террорист, своего рода воплотитель отношения к Столыпину левых радикалов, его убил. Вся эта последовательность событий имеет один источник — идеологию.

Столыпин, имевший в виду практическую, реальную пользу России и строивший свою реформу на органических основаниях, принципиально чуждался всякой идеологии, тем более идеологии отдельных политических партий. «Любя Россию, а к партиям равнодушный, он не примыкал ни к одной, был свободен от давления любой из них и поднялся над ними всеми, при нём партии потеряли свою опрокидывающую силу. Вокруг него было прополото всё мелкое политиканство. Он был чужд мелочей, а потому и — мелкого самолюбия» (*Август 14*, т. 2, стр. 223). Общество же, десятилетиями приучавшееся к популистской и революционной пропаганде, ни понять, ни оценить масштаб личности Столыпина не могло — общество собственной волей выбрало не реформы, а — идеологию.

Общество открыто радовалось смерти премьер-министра. «Ни всё почтенное сословие присяжных поверенных <...>, ни вся почтенная пресса, включительно до «профессорских» газет, — за важнейшим вопросом, можно ли считать Богрова честным революционером, не задались вопросом другим: а имеет ли право 24-летний хлюст единолично решать, в чем благо народа, и стрелять в сердце государства, убивать не только премьер-министра, но целую государственную программу, поворачивать ход истории 170-миллионной страны?» (*Август 14*, т. 2, стр. 282).

Смерть Столыпина облегчила и дальнейший выбор Николая II — выстрел Богрова прозвучал в тот момент, когда отставка премьер-министра была уже предreshена. Выбор царя совпал с выбором радикальной интеллигенции, и Столыпин был вычеркнут из русской Истории.

И вновь перед нами проблема ответственности тех, кто мог бы совершить верный и осмысленный исторический выбор, но не сделал его. В результате потенциальный спаситель России гибнет, а торжествует антагонист Истории, мастер мелкопартийной интриги — Ленин.

Философы и либералы. Якобинцы и большевики

Французские философы эпохи Просвещения и русская либеральная интеллигенция начала XX века выполнили одинаковую функцию в революционных сюжетах каждой из стран. Нашуывая слабые места государства, они ме-

тодически расшатывали его основания, нимало не заботясь о том, чем кончится такое расшатывание.

Конечно, вряд ли есть смысл сравнивать саму интеллектуальную деятельность и последующую историческую репутацию Монтескьё, Вольтера, Руссо, Дидро — с одной стороны, и, скажем, Милюкова — с другой. Слишком различен в глазах потомства вес тех и других. Но в рамках сравнения «Истоков...» и «Красного Колеса» подобная параллель вполне уместна, тем более что те и другие являются идеологами революции.

Французскую философию эпохи Просвещения принято называть философией во многом благодаря тому, что во французском языке слово «идеология» отнюдь не приобрело того значения, каким обладает в русском. По-русски же философию Монтескьё, Вольтера, Дидро, Руссо, Мармонтеля, Мабли подобало бы именовать как раз идеологией, ибо философская мысль их сочинений слишком была направлена на повседневную реальность и слишком легко, независимо от их собственной воли, преобразовалась в устах площадных ораторов в систему революционных лозунгов и кличей.

Тэн редко употребляет слово «идеология», но смысл деятельности философов сводится у него к тому же, что и смысл политической активности русской либеральной интеллигенции у Солженицына, — к разрушительной идеологической игре. Разница лишь в том, что для французских философов игра идей так и осталась чистой игрой — почти никто из них не дожил до 1789 года, а для русских либералов эта игра стала частью того политического спектакля, в котором они сами исполнили первые роли и который они так бездарно провалили.

Провал русской либеральной интеллигенции в 1917 году объясняется Солженицыным как раз идеологической зашоренностью тех, кто встал у власти во Временном правительстве. Имея прямую возможность повлиять на ход истории, либеральная интеллигенция «сробела, запуталась, её партийные вожди легко отреклись от власти и руководства, которые издали казались им такими желанными, — и власть, как обжигающий шар, отталкиваемая от рук к рукам, докатилась до тех, что ловили её и были кожей приготовлены к её накалу» (*Публ.*, т. 1, стр. 85), — до большевиков.

Параллель «якобинцы — большевики» слишком очевидна независимо от сравнения «Истоков...» и «Красного Колеса», ибо большевики на своем пути к власти воспроизвели многие приемы якобинцев, и нет смысла повторять здесь вещи общеизвестные. Остановимся лишь на том, что, с точки зрения Тэна и Солженицына, является движущими импульсами тех и других.

Как о якобинцах, так и о большевиках можно сказать словами Тэна, определяющими смысл деятельности Робеспьера: «От философии он взял только один мертвый субстрат, заученные формулы, несколько ярких фраз, смысл которых, плохо понимаемый их авторами, в исполнении их последователей и во все улетучивается» (*Истоки*, т. 2, стр. 114). Доказывать идеи общественного договора, устанавливать религию разума, утверждать историсософскую формулу неизбежности перехода от капитализма к социализму с помощью гильотины и пулемета — такое могут допустить только люди больные. Это та же болезнь, что у философов и либеральных интеллигентов, — зараженность идеологией: «...она передаётся от соприкосновения, и никак нельзя устоять» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 348). Когда не человек «владеет идеями, а идеи владеют им» (слова Тэна о Дидро — *Истоки*, т. 1, стр. 199), дело плохо: реальность ускользает, и начинается бред. «И куда-то <...> всё понесло, ещё сильнее, покружило, или посыпало <...>, но несло их куда-то прочь от человека, желающего определить себе правильные действия. Смысл мелькал до того карусельно, что его нельзя было придержать...» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 343).

Разница между философами и либералами, с одной стороны, и якобинцами и большевиками, с другой, — не качественная, а количественная. Если философы у Тэна выглядят только психически неуравновешенными личностями (Дидро «не может справиться с собой»; Руссо «болен душой и телом»; Вольтер «не способен сдерживать себя») и «раздражителен, как никто из людей», — *Истоки*, т. 1, стр. 199, 201, 197), то лидеры якобинцев предстают клинически больными людьми: «У большей части новых властителей наблюдаются психические расстройства» (*Истоки*, т. 2, стр. 156). Марат находится постоянно «в состоянии чрезмерного возбуждения», у него «приступы раздражительности,

бессонница, свинцовый цвет лица, испорченная кровь», — все это в конечном счете выливается в «манию преследования» и «параноидальный страх за свою жизнь». Робеспьер «измучен внутренним разладом», его душевный «механизм, разъедаемый изнутри своим же собственным ядом, сломался» (*Истоки*, т. 2, стр. 97 — 98, 125).

У Солженицына все, конечно, сложнее, ибо его герои представлены читателю не в монологическом авторском повествовании, а через разнооценочные мнения других. С учетом этого и надо воспринимать те определения лиц, которые встречаются на страницах «Красного Колеса». Среди них легко обнаружить вполне тэновские: «бледный сброд», «истерики» (это думает Набоков о Временном правительстве), «самоупоённый поджигатель и с театральным вывертом» — Керенский, «неуравновешенный идиот Владимир Львов», «и ещё один неуравновешенный, романтик Шульгин» (а это Гучков — о том же Временном правительстве) (*Апрель 17*, т. 1, стр. 418; *Март 17*, т. 3, стр. 95).

При изображении же большевиков Солженицын стягивает своих героев к единому центру — Ленину: «И все, все эти разные люди пересекались как в центре — в Ленине. Взаимодействовали с ним — и уже как бы истекали из него» (*Апрель 17*, т. 2, стр. 244). И тут необходимо обратить внимание на тот страшный образ ленинского мозга, который является одним из важнейших смыслообразующих центров «Красного Колеса»: «Но — голова... Но голову носил Ленин как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов, — аппарат этот низкой мстительностью природы был болезненно и как-то, как будто, разветвлённо поражён, всё в новых местах отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого — хлеба, мяса, гриба — налётом зеленоватой плёнки и ниточками, уходящими в глубину: как будто и всё ещё цело и всё уже затронут, невыскребаемо, и когда болит голова, то не всю ощущаешь её больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. <...> От этой головы отделаться — некуда! Всё в мире ждёт твоих оценок и решений! всё в мире можно направить твоею волей! — а сам ты уже стиснут, и вырваться — невозможно!» (*Март 17*, т. 2, стр. 671).

* * *

Повествование Солженицына обрывается на апреле 1917 года — времени, когда власть еще находится в руках Временного правительства, времени, аналог которого описан Тэном в конце третьей книги «Революции». Дополнение Солженицына к изданным «узлам» «Красного Колеса» содержит подробный план последующих шестнадцати «узлов», рассказ о которых потребовался бы, чтобы создать полнейшую картину русской революции: предполагаемый финал эпохи происходит в 1922 году — закончена Гражданская война, власть полностью сосредоточена в руках большевиков, и страна переходит из бурного состояния анархии и явного террора в состояние скрытого террора при показном благополучии.

В сущности, этот план ненаписанных «узлов» соединяет «Красное Колесо» с другим историческим сочинением Солженицына, написанным раньше, — «Архипелагом ГУЛАГ». Не удивительно, что революционный террор, ставший некогда у Тэна кульминацией его повествования о Французской революции, остался за пределами повествования Солженицына в «Красном Колесе». Эпоха большевистского разгула растянулась в России на семьдесят с лишним лет дольше, чем Французская революция (и если согласовывать послереволюционные события во Франции и России, Россия только сейчас вступает на порог своего Термидора). В «Архипелаге...», в отличие от «Красного Колеса», показано остановившееся время — время, в котором нет места потенциальным историческим возможностям личности. Конечно, Солженицын признает эволюцию нового режима в России, но это эволюция форм, не сущности. Сущность же его на протяжении всех семидесяти с лишним лет однородна: это режим концентрационного лагеря. Поэтому характерно, что в «Архипелаге...» нет никаких «узлов»: при изучении советской эпохи диахронический анализ неуместен — в лагере один день слишком похож на другой, и история останавливает там свое течение.

Таким образом, место, которое занимает эпоха террора в творчестве Солженицына, вполне эквивалентно месту, занимаемому террором на страницах «Истоков...» Тэна, — большевистский террор оставался центром творчества Солженицына, и в «Красном Колесе» автор предпринял опыт исследования истоков этого феномена.

Почему же Солженицын остановился в своем повествовании? Видимо, потому, что, дойдя до февраля 1917 года и рассказав затем о первых месяцах Временного правительства, он обнаружил, что дошел до того истока, откуда вытекают все дальнейшие события в русской истории XX века.

Сам Солженицын говорил, что чем внимательнее изучал предоктябрьскую историю России, тем более убеждался: все решилось уже в феврале 1917 года, а Октябрьский переворот — это лишь заключительный момент в цепи нереализованных возможностей русской жизни. «Но вник я в Февральскую революцию — и всё мне переосветилось. Я-то рвался к Октябрьской, Февраль казался только по дороге — а тут я понял, что несчастный опыт Февраля, вот, его осознание — это и есть самое нужное сейчас нашему народу» (*Лубл.*, т. 2, стр. 355).

По мере приближения солженицынского повествования к кульминации в феврале 1917-го ход рассказа все замедляется и замедляется. Происходит так, бесспорно, потому, что, приступая к изображению решающего момента в русской истории, поставившего на карту судьбу целой нации, Солженицын ощущает особенную ответственность за раскрытие «всей правды» того периода, когда история распадается на мелкие фрагменты, когда человек, все больше и больше освобождаясь от привычных общественных обязательств, предоставлен сам себе и действует по своему собственному усмотрению, когда каждый становится действующим лицом истории, когда важен каждый личный выбор, когда в раздробленном на части обществе ничего больше не стоят законы, а единственный способ выявить закономерности будущего развития новообразовавшегося государства, кажется, заключается в описании жизненного пути каждой отдельно взятой личности. «Невозможно писать плавно повествовательные главы, когда события происходят по часам, по минутам и когда через три дня страна уже не та, что была три дня назад» (*Лубл.*, т. 2, стр. 530).

Такая позиция объясняется, может быть, и другой, более глубокой причиной: автор вероятностной истории, Солженицын не мог отказаться от повода как можно более подробно рассказать о ситуации полной свободы в русском обществе — о ситуации, когда все еще можно изменить. Впрочем, конечно же, «полная свобода» — иллюзия, и Солженицын это прекрасно сознает, показывая, как ход истории постоянно колеблется между свободой выбора и жесткой заданностью в действиях людей. Тот, кто в момент предоставившейся ему свободы ошибается в выборе или вовсе отказывается от него, неизбежно окажется скоро во власти непреодолимых усилий воли обстоятельств. Чтобы подчеркнуть это, Солженицын увеличивает количество «узлов», больших и малых, предполагающих возможность изменения исторического процесса. Но он не может не признать, что каждый новый «узел» «стянут» куда туже, чем предыдущий, и что с каждым новым «узлом» предлагаемая свобода выбора оказывается все более и более ограниченной, пока наконец, с приближением октября 1917-го, русская история не становится фатальной.

В конечном счете все зависит от воли Провидения. «Слово Провидение не хочется употреблять всуе. Произнося это слово — вступаешь в область торжественного. Я — убежден в присутствии Его в каждой человеческой жизни, в своей жизни, и в жизни целых народов. Только мы так поверхностны, что вовремя ничего не можем понять. Все изгибы жизни нашей мы различаем и понимаем с большим-большим опозданием. Так, уверен я, когда-нибудь поймём мы и замысел о Семнадцатом годе» (*Лубл.*, т. 2, стр. 371).

Если исходить из этого утверждения, можно полагать, что революция — это испытание, ниспосланное России Провидением. Такой вывод напрашивается сам собой, даже если он и не сформулирован четко в «Красном Колесе». Однако если замысел Провидения неспостижим в тот момент, когда этот замысел осуществляется, как обыкновенный человек может угадать, в какой мере его свободная воля противоречит или соответствует Вышнему замыслу? На этот вопрос в «Красном Колесе» есть ясные ответы, как бы обрамляющие все повествование. Это реплики генерала Мартоса в «Августе Четырнадцатого» и

Сани Лаженицына в одной из последних глав «Апреля Семнадцатого»: «...продолжать напористо, как продолжает играть опытный актёр, всё равно уже выйдя на сцену, хотя бы видел он, что партнёры его сбились и несут околесицу, что у героини отклеился парик, что отвалился щит от декораций, что сквозняком несёт, что публика громко шепчется и почему-то жмётся к дверям. Продолжать играть-воевать с отчаянной лёгкостью: пусть только не от него провалится спектакль, а может, ещё и вытянем» (*Август 14*, т. 1, стр. 337); «...я думаю... Простой человек ничего не может большего, чем... выполнять свой долг. На своём месте» (*Апрель 17*, т. 2, стр. 531).

Проблема долга прямо связана у Солженицына с вопросом о личной ответственности человека. Даже в тех фатальных условиях остановившегося времени, описанных в «Архипелаге...», удавка обстоятельств не всегда давила горло с равномерной силой. Поэтому и тогда возможно было искать момент выбора для исполнения долга. «Всякий путь надежды должен быть испытан. Всякий тупик должен быть доказан» (*Март 17*, т. 2, стр. 322). Этим испытанием надежд и доказательством тупиков человек и может нащупать ответ на вопрос о загадках, задаваемых ему Провидением.

Наиболее точно сам Солженицын сформулировал эту идею на конференции для прессы в 1975 году в Париже, когда объяснял смысл своего «Письма вождям»: «Моё «Письмо вождям» было во многих отношениях неправильно истолковано здесь. Прежде всего, то, что написано в «Письме вождям», не есть никакой универсальный совет для всего мира, это не есть теория: давайте в каждой стране вот такой путь выберём. Это только — с болью в сердце предвидение, что произойдёт в нашей стране, если нынешние правители Союза доведут до взрыва. У нас начнётся не социальная революция, у нас начнётся национальная резня, и целые народы лягут в могилы. До того довело советское правительство национальные отношения. Так что речь идёт <...> о том, как спасти нас от полного уничтожения. <...> то, что я предлагал вождям Советского Союза, есть некоторый плавный выход, без взрыва и без кровопролития. <...> нам нужна демократия, но откуда мы её возьмём? <...> Остаётся просто Бога молить: Господи, пошли нам завтра внезапно полную демократию! Но Бог не вмешивается так просто в человеческую историю. Он действует через нас и предлагает нам самим найти выход» (*Публ.*, т. 2, стр. 179).

Когда были сказаны эти слова, Россия еще пребывала в состоянии вполне коммунистическом, а Солженицын только что начал работу над «Красным Колесом». Когда был дописан «Апрель Семнадцатого» и составлен план следующих «узлов», Россия уже вступила в эпоху своего Термидора, причем для Солженицына было очевидно, что выход из коммунистического тупика — это как бы возврат к тем потенциальным возможностям, которые не были реализованы до февраля 1917-го. И характерна первая реакция автора «Красного Колеса» на тот наплыв свободы собраний и мнений, который накатил на страну в последние два-три года перестройки: «Вот, в кипении митингов и нарождающихся партиек, мы не замечаем, как натянули на себя балаганные одежды Февраля — тех злословных восьми месяцев Семнадцатого года. А иные как раз заметили и с незрячим упоением восклицают: „Новая Февральская революция!“» Это сказано в статье «Как нам обустроить Россию?».

Понятны слова человека, лучше многих знающего, что такое Февраль Семнадцатого и чем он кончился. Понятен и смысл его предостережения. К этому, однако, можно добавить слова Воротынцева из «Красного Колеса»: «Не сами ли мы эти параллели нагоняем? А как бы усилия приложить — распараллелить? Мало нам хорошего — ту историю повторять» (*Октябрь 16*, т. 1, стр. 332).

Смысл истории не может быть сведен к повторению старых путей в знакомые тупики. В каждую новую эпоху завязываются новые «узлы» и возникают уникальные возможности для реализации замысла Провидения, была бы для исполнения этого замысла свободная воля чувствующих историю и свой нравственный долг людей. Не факт, конечно, что жизнь от их свободного выбора станет лучше. Но точно — будет иной.